

## Протокол допроса гражданина Ганина Алексея Алексеевича

На вопросы, заданные мне, отвечаю.

Собственно, к политической работе я никогда себя не готовил. Я хотел исключительно работать в художественно-литературной области. Мною не написано ни одной социально-политической книги. Ни к какой политической партии я никогда не принадлежал. Но гражданином я был всегда или, по крайней мере, стремился им быть, ибо стремился всегда по мере моих сил и способностей помогать трудовому народу, крестьянам и рабочим вырваться из того социально-экономического гнета, в котором они находились, в котором находился и я. С восьмилетнего возраста, работая с отцом по окрестным деревням, по заводам и фабрикам, расположенным в Сухонском районе Вологодской губернии, я с детства увидел и остро воспринял извращенную несправедливость. Для одних — вечный труд, нищета; для других — довольствие и праздность. Но чтоб служить не только словом, но и делом, я в детстве же понял, что необходимо учиться. И вот до сего времени всю жизнь, изнемогая в борьбе за кусок хлеба, я продолжал свое дело учебы и то же время занимался литературной работой. Я приехал сюда, в Москву, как в центр научной и литературной работы. Так как начаты мною работы — ряд художественно-драматических хроник, «Освобождение рабов», «Иосиф» и несколько других из истории эллинского Рима и России. Кроме того, мною начат большой роман, который бы охватывал жизнь России в целом за последние двадцать лет и действие в котором разыгрывается, в отличие от всех существующих романов, не на любовной интриге, а на социально-экономических условиях. Все вышеуказанные работы требовали от меня знаний истории последних лет в целом. Но приезд мой оказался для меня роковым. Все мои работы, особенно последняя, рассчитанная приблизительно на десять лет, требовали еще некоторой, хотя бы минимальной обеспеченности, которой у меня абсолютно не было.

Напротив, я оказался в крайне отчаянном положении: без работы, без комнаты, без денег. И так продолжалось с 1923 года, с сентября месяца, до дня ареста. Питался я большей частью в кафе Союза поэтов «Домино». Позднее — «Альказар» и «Стойло Пегаса». А ночевал — где застигнет ночь.

Таким образом, моя конспиративность есть не более как хроническое безденежье и отсутствие комнаты. Отсюда возникли и те печальные знакомства с известными вам людьми.

По приезде в Москву я оставил вещи свои да пару белья и рукописи в общежитии студентов на Госпитальной улице у земляков, учившихся со мной вместе в Вологде с 1910 по 1914 год. Переночевал, а на другой день ушел и не был там. Приблизительно до конца ноября.

В зачислении меня в вуз Главпрофобр отказал, так как было уже поздно, прием был прекращен. Желая уехать обратно и не имея ни гроша денег, я хлопотая перед Наркомпросом, чтобы уплатили мне гонорар за книгу стихов, принятую еще в 1921 году ЛИТО. Своевременно гонорар мне не был оплачен из-за денежного кризиса, происходившего в то лето 1921 года. Но так как ЛИТО было уже давно ликвидировано, а материалы перешли в архив академии, в уплате гонорара мне было отказано. Я окончательно остался на мели, во власти всяких случайностей. Вечера до глубокой ночи проводил в кафе, в пивных, а ночевать уходил к моему бывшему другу поэту Есенину, в дом «Правды» по Брюсовскому переулку, где познакомился с его тогдашней женой Галей<sup>1</sup>, ни фамилии, ни отчества которой я не знаю и до сих пор. Ночевал в то время в той же квартире поэт Клюев. Вот люди, с которыми я общался, если не считать тех десятков людей, которые, как тени, притягиваемые скандальной известностью Есенина, проходили перед нами в пьяном бреду, которые каждый вечер были все новые, которых я не знал и знать не старался.

Поэт Клюев, совсем не пивший или изредка пивший, очень мало, неизменно уводил нас в вышеуказанное место в Брюсовском переулке. Так продолжалось до всем известного печального процесса четырех поэтов<sup>2</sup>. К этому времени я ближе познакомился, приблизительно за день до скандала, в пивной с Орешиним, Клычковым, с которыми я изредка встречался в бывшем Петербурге в период 1916 и 1917 года. В то же время познакомился с Борисом Глубоковским, с Марцеллом Рабиновичем, которые жили вместе, и с Иосифом Аксельродом. У первых после процесса я ночевал одну ночь, они, кажется, и сами вскоре очутились без комнаты. В доме «Правды» после процесса ночевать было нельзя. В это время, до первого января 1924 года, я ночевал то в «Стойле Пегаса», то в общежитии писателей, то у

<sup>1</sup> Печатается с небольшими сокращениями.

<sup>2</sup> Речь идет о Галине Артуровне Бениславской (1897—1926), гражданской жене С. А. Есенина.

<sup>3</sup> Имеется в виду пресловутое, спровоцированное ЧК судебное дело «об антисемитизме», по которому в 1923 году проходили С. Есенин, С. Клычков, П. Орешкин и А. Ганин.

Аксельрода на Рождественском бульваре, дом № 17, где, если не ошибаюсь, часто ночевали и Рабинович, и Глубоковский.

В той же квартире, кажется у Богомильского, останавливался Борис Пильняк и одну-две ночи ночевал Всеволод Иванов.

Все разговоры наши вращались исключительно в области литературы, литературного быта, воспоминаний о годах гражданской войны и вообще о всех вопросах, которые затрагивали и затрагивают мыслящие люди. С Пильняком встречался в то время раза два, и то в обществе Богомильского, почти незнакомого мне человека, который как будто помогал издавать Пильняку его сочинения. В общечити писателей встречался со всеми, кто там жил. А по вечерам чуть не каждый вечер был на тех литературных собраниях, которые там происходят. Таким образом, знаком почти со всем литературно-художественным миром. После собраний неизбежно уходили в «Стойло Пегаса», где был галдеж до двух часов ночи, а оттуда, если в состоянии мы были двигаться, отправлялись, кажется, в «Подвал энтузиастов», ныне закрытый, где было кручение до шести часов утра. Нередко компаниями уезжали в ночные чайные на Триумфальную. Что там были за люди, я не знаю. Какие-то оасфранченны дамы, актрисы, артисты, художники, поэты, иностранные представители печати. Все это гудело, вертелось, был пьяный угар и смертельная тоска. Но где же было быть? на улице? пешком уходить в Вологодскую губернию? К тому же многие из всяческих трестов и учреждений обещали устроить на службу. Но все это был миф. Да и в людей я вдруг не поверил. Все больше одолевало черное отчаяние.

В это же время, а может быть несколько раньше, меня познакомил Есенин с Айседорой Дункан, как со своей бывшей женой. У Дункан я был раз пять, где было иногда много людей, говорилось на разных языках. Были мы и держались там — Есенин, Клюев, я, Аксельрод, Рабинович, Говорили всегда ни о чем — комплименты Айседоре или обо всем, до тех пор, пока Есенин не начинал с кем-нибудь драку.

Из всех знакомств у Айседоры у меня осталось одно — скульптор Коненков, у которого я был однажды с Есениным, Клюевым и Рабиновичем. Осматривали мастерскую Коненкова, эту необычайную сокровищницу. Разговоры исключительно были о скульптуре. Вскоре он, кажется, уехал в Америку.

В это же время Глубоковский познакомил меня с Заликом Персицем, где Глубоковский читал свою пьесу «Дон-Жуан». Присутствовали супруги Персицы, артисты студии, кажется, Русской драмы, и Анатолий Васильевич Луначарский, который, как говорили, был заинтересован новой драмой студии. Читал Глубоковский. Все молчали. После прочтения пьесы товарищ Луначарский молча раскланялся и уехал, обронив несколько замечаний по поводу пьесы. Ни с кем из присутствующих, за исключением Глубоковского и Персица, больше не встречался.

Вскоре после процесса Есенина отправили в нервный санаторий. Меня окончательно забрала полусумасшедшая тоска. Время летело. Хотелось работать, но не было стола, чтобы присесть и записать пережитое. К тому же из дома я уехал самое большее на неделю. Устроиться здесь и потом уже перебраться. А проходил третий месяц. Дома осталась ни с чем жена и двухлетняя дочь, перенесшая летом тяжелую дизентерию. А жена все еще тосковала о маленьком сыне, умершем в то же время и тоже от дизентерии.

Днями я не раз обращался к своим приятелям по Вологде — Ковалеву и Ермолаеву: не могут ли они прискаты мне службу? Оба они коммунисты. К тому же здесь, в Москве, было в то время много коммунистов, занимавших довольно видные и ответственные посты, с которыми я встречался в Вологде, которые знали меня как человека, работавшего в Губполитпросвете, или как поэта. А с Ермолаевым и Ковалевым я был знаком до революции. Ермолаев устраивал в Вологде профессиональный союз врачей и снабжал нас, учившихся в медицинской школе, нелегальной в то время революционной марксистской литературой.

Что касается Левичева, то мы с ним из одной волости. В одно время учились в сельской школе, ребяташками работали на Беляевском лесопильном заводе. Я работал с отцом по печной, мял глину. Если производилась кладка фундаментов, мешал известь, бил щепень, таскал кирпич, а Левичев на дрозьянке — так называлась погрузка, обрезка теса в барже.

Позднее, когда я учился в фельдшерской школе, а он в учительской семинарии, встречались по летам. В битность его вологодским губвоенкомом я встречался с ним как со старым другом. Но вскоре после моего приезда в Вологду он был переведен куда-то на юг, в двадцатых числах после того времени я виделся с ним, если не ошибаюсь, один раз в Вологде после окончания им академии и один раз здесь, в Москве, на Тверской улице. Он спешил по делам, я спешил от безделья в кафе «Альказар». Было это, кажется, что весной. У Козалева я течение зимы я бывал раз десять, главным образом спросить, нет ли кого знакомых с родины.

Спрашивал о службе. Отдыхал от пьяной богемы, ел человеческий обед, играл в шахматы и уходил после двенадцати часов в «Стойло». Там ночевать было негде. Знакомство с Ковалевым главным образом было благодаря тому, еще с Вологды, что Ковалев, будучи вологодским губкомиссаром, жил с неким коммунистом Кальгиным. Кальгин — из нашей волости, дальний мне родственник, бывший революционный студент, живший без права въезда в города, снабжавший меня литературой, главным образом художественной. К тому же мой первый стихотворный учитель.

У Ермолаева бывал тоже раз десять, а может, и значительно больше. К нему я заходил тоже отдохнуть от кричащей богемщины, от хвастливой, размалеванной кофейной, разваленной буржуазии и барства, от кокаинистов и прочих, лишенный своей семьи — я очень любил посидеть в семейной обстановке. К тому же Ермолаев — убежденнейший и просвещеннейший марксист, имеет довольно значительную библиотеку. Там можно есть и читать, попить из самовара чай, погалдеть с ребятишками. У него маленький сын, сверстник моей дочери.

С Ермолаевым мы говорили обо всем, главным образом о литературе. Но интересней всего его рассуждения философско-материалистические. Ни о какой политике, да еще заметно-воинствующей, не было речи. Мне даже пьяному не приходило в голову, ибо трезвый я великолепно понимаю, что какой же человек в полтора раза старше меня, состоящий в партии СД большевиком чуть ли не с самого основания партии, возмет и будет сразу кем-то другим. Ввиду того, что у Ермолаева я засиживался, долго жила, главным образом по воскресеньям, денег иногда не было не трамвай, поэтому, пользуясь близостью расстояния, я уходил ночевать на Госпитальную, в общежитие студентов. В течение всей зимы был там не более пяти раз, то есть ночевал в общежитии, возвращаясь к началу...

В читальне я целые дни читал газеты, затем читал книги, какие имелись, а ночью писал. Иногда целые дни после просмотра газет играли в шахматы. Иногда я лежал с утра до ночи, обдумывая свои произведения. Довольно часто, особенно в первую неделю знакомства с Никитиным, говорили о поэзии, о построении стиха и прочем. И только иногда подымались те или иные разговоры по поводу дискуссий. Много говорили во время похорон Владимира Ильича Ленина. В это время я собирал газеты, тщательно следил за каждой статьей, за каждой заметкой.

Здесь, в зале, я познакомился с Чиркиным, с Корабельниксым и с Анатолием Розановым, которого за всю зиму видел раз пять—шесть.

Бывали разговоры в стиле газетных дискуссий. За все время приезжал в кафе один раз, напивался раза два, был рад. Чиркин все время обещал мне достать либо работу, либо денег на дорогу в Вологду, но ничего не достал. Я жил в долг у Чиркина и Никитина. С Никитиным иногда вели разговоры на тему: история революции. Я иногда злился за объявленный мне бойкот. Однажды думал написать прокламацию в конце дискуссии, но мысль эту бросил. Я не знаю, делился ли тогдашними мыслями с Никитиным или с Чиркиным, но о терроре и прочих ужасах я никогда не подымал никакой речи. До поселения в читальне, приблизительно дня за три, в одной из ливных, именно на углу Тверской и Садовой, познакомился со мной один человек воинский в малиновой шапке. Вначале обсуждали те вопросы, которые всплывали на знаменитой коммунистической дискуссии. Кроме того, все несчастье наше заключалось в том, что, куда бы мы ни пришли, все спрашивали о деле четырех поэтов. Говорилось и об этом — как шел суд, через несколько дней в читальню явился тот воинский молодой человек, читал газету. Сказал, что он курсант из Кремля. Никаких политических разговоров не вели. Это было в присутствии Чиркина и Никитина. На прощание он говорил, что если нам угодно, то в ближайшее воскресенье по закону он имеет право провести в Кремль двоих — осматривать кремлевские достопримечательности.

Как его имя и фамилия — не знаю. Сидел он минут сорок — тридцать. Больше нигде не встречался. В Кремле я никогда не был.

После суда ко мне часто обращался Александрович с приглашением зайти к нему, да вообще просил заходить. С Александровичем я встретился осенью 1923 года в зале ЦЕКУБУ, где мы читали стихи — Клюев, Есенин и я. Говорил о стихах, хотел написать статью. Я знал его как литературного критика.

В конце января я был у него, у Александровича, вместе с поэтом Никитиным. Кажется, на именинах жены, где познакомился с Голозиным и так называемым Мишелем. В своих предыдущих показаниях я уже говорил, что профессор Головин только летом вернулся из-за границы. Рассказывал о Германии, о бытовых сторонах, о прошлом, о настоящем. Высказал суждение, что русские и все долго живущие в России — люди во взаимоотношениях проще и лучше, чем за границей.

Тот же надоевший вопрос о судьбе четырех поэтов. Александрович, бывший в суде, рассказывал свои впечатления. Отсюда речь зашла о национализме. Но в этот раз говорилось много о самом профессоре. Он рассказывал о своей научной карьере, о своей борьбе со своими завистниками. С Головиным и Мишелем я встречался у Александровича раза три, пожалуй, точно — три. Причем с тем и с другим не одновременно. Последний раз встречался с Головиным летом. Тут же был Мишель — я зову его тем именем, каким звали его супруги Александровичи, ни фамилии, ни отчества я не знал. Рассуждения были приблизительно те же — на тему о национальностях. Высказывался взгляд, что необходима какая-то борьба за экономическое улучшение. Одни доказывали, что борьба начнется в России под угрозой с Запада под влиянием нищеты, другие — что только белая эмиграция способна вывести Россию на более высокую ступень благоустройства. Все оказались националистами, но в конечном итоге никаких крепких точек соприкосновения между всеми нами не было.

Не знаю точно, на этой встрече или позже, я встретил Мишеля на Кудринской площади. Он пригласил меня к себе. У него закусывали, пили козье молоко, рас-

суждали наравне же социально-экономические темы. Из разговоров, происходивших на квартире Александровича и здесь, он выказал себя убежденным панславистом, сторонником крестьянской диктатуры, вернее, народозольцем.

Что касается Кудрявцева и Кириллова, то я знаю их с двадцатого года. Кириллов познакомил меня с Кудрявцевым в Вологде, где мы устраивали вечер современно-пролетарской поэзии: Кириллов, Родов, Обрядович, Александровский<sup>3</sup> и я. Таким образом, Кудрявцева я знал как коммуниста, прокурора. А Кириллова — как всем известного пролетарского поэта.

У Кудрявцева я жил с февраля месяца в его комнате, составил книжку стихов, которая печаталась в типографии Мосторга, где Кудрявцев был заведующим. У Кириллова бывал часто в 1921 году. Ныне был всю зиму десять раз. Причем все разговоры всегда большей частью литературного характера. Если происходило в жизни СССР или Европы, на основании газетных сообщений, что-нибудь новое. При последней встрече с Кирилловым мы обсуждали наше экономическое состояние, причем и тот и другой в доказательство своих мыслей приводили цифры, опубликованные в официальных газетах, в печатных статьях «Экономической жизни», «Промышленной газеты», «Известий», «Правды», сборника ЦСУ. Разговор возник по поводу предвыборной английской кампании, когда становилось ясно, что верх возьмут консерваторы, которые едва ли ратифицируют заключенный договор. Отсюда возникла мысль о необходимости силами своего государства создать желательное благополучие государства и тем самым избежать зависимости от западных государств, в какую примерно попала Германия.

Такие рассуждения приблизительно велись, по крайней мере в моем присутствии, и у Чекрыгина, и у Александровича, и у Мишеля, и на квартире у Розанова. И незадолго до ареста об этом же были рассуждения и с Кудрявцевым. Об этом же рассуждали и в студенческом общежитии. Причем в общежитии всего-навсего разговоры об этом подымались раза два-три. Так как все студенты торопились сдавать зачеты и готовились к государственному экзамену. За исключением земляков-вологоджан Тихомирова, Круглова и Серкова, был еще в приятельских отношениях с Воеводиным и с Сахно. Все они — с последнего курса.

Главная причина моего частого посещения та, что Лефортовский парк и пруды служили мне все лето дачей. К тому же за весь год я имел здесь возможность спать на койке раздевшись, по-человечески. Думал ходить на работу, но ходил только раз. При проводах Сахно я был там и встретил Сахно случайно на дороге, собравшегося уезжать. Я шел за бельем, с тем чтобы вымыться в бане. По дороге я рассказал ему прочитанное в газете о признании Францией Союза ССР и о той газетной шумихе, которая происходила во Франции. По словам газеты «Известия ВЦИК». На прощанье просил писать, как и что жизнь на Урале, среди крестьян, рабочих и так далее. То есть что пишется в обыкновенных неглупых письмах. Просил сообщать бытовые особенности.

С Петром и Николаем Чекрыгинными я познакомился весной, в «Альказаре», во время обеда они читали мне свои стихи. Через некоторое время, по-моему, в мае, встречается меня Петр Чекрыгин на Тверской и предлагает вступить в Орден русских фашистов, говоря мне при этом несколько комплиментов о моем уме. Я говорю, что я — поэт, занимаюсь исключительно литературой, но, заинтересованный личностью Чекрыгина, в первый раз произведшего впечатление святошечки, стоящего на краю могилы, я сказал — хорошо, подумаю. Вскоре мне пришлось у чего ночевать. Но, по-моему, это уже в июне, в конце, когда я начал устраиваться на службу в Хлебопродукты, ходить на Госпитальную не мог.

Приблизительно в это же время меня познакомили Чекрыгинны с Олегом Полярным, поэтом и художником, который рисовал с меня портреты, то и другое у которого выходит крайне скверно.

Между прочим, при вторичном предложении вступить в Орден фашистов я попросил указать мне двух членов ЦК. И вот однажды после ночевки, или перед ночевкой, вечером, Чекрыгин указал мне на Полярного и на брата — Николая Чекрыгина, и на себя. На мой вопрос — «все?» — они отвечали, что все. Я сказал — ладно, вступлю. В это время Чекрыгин настаивал писать протокол. На вопрос — «что у вас имеется?» — они ответили — ничего. Но Полярный утверждал, что он достанет у какого-то купца-виноторговца денег. Имя его — секрет. С веселым добвлением: по крайней мере, хоть брюки купить. Причем вид у Полярного, особенно брюки, был действительно до крайности плох. Чекрыгин Петр мрачно рычал брату: «Довольно!» — и развивал такую мрачную теорию о взрыве всех и вся, даже о взрыве всей Земли, ибо он — космический анархист, что всем нужно иметь знамя. И тут же приблизительно наметил стрелы, круги, кружки и прочее. Кому что досталось — я не помню. Тут же говорилось о шифре, после чего я предложил нелепый шифр — читать третью букву в каждом слове. Причем это происходило после ночевки в кафе «Стойло Пегаса». Из кафе было взято в этот день две бутылки вина на квартиру Чекрыгины.

<sup>3</sup> В. Кириллов, С. Обрядович, В. Александровский, М. Герасимов, С. Родов — известные пролетарские поэты той эпохи.

После изображения космических знаков Чекрыгин хотел погасить свет. С этой целью высунулся в окно, выходящее на Тверскую, и орал во все горло: «Эй, сволочи, буржуазия проклятая! Кто не знает Ордена русских фашистов!»<sup>4</sup>.

Если не ошибаюсь, было еще одно собрание, где снова произносилась речь, которую он неизменно произносит, куда бы он ни пришел, — «всё взорвать, погасить, умертвить», потому что он призван творить великие дела. Он сейчас погасит свет, а завтра или скоро отравится. «Все — сволочи!». Причем всегда показывал в сторону довольно разодетых людей.

После такой речи своей заставлял писать протокол, потому что, добавлял неизменно Олег Полярный, — без протоколов никто не поверит, что есть Орден русских фашистов, и никто не даст денег.

Не знаю, в какое время, во всяком случае после того, как были прекращены разговоры о фашизме и ни Чекрыгин, ни Полярный не требовали больше протоколов, терроров и прочих ужастей, кажется, Полярный познакомил меня в «Альказаре» с гражданином Вяземским<sup>5</sup>, называя его князем. Каждую неделю, раза два-три, и приблизительно за неделю до отъезда Вяземского, последний заходил в «Альказар», обедал и уходил слушать малороссийский хор в пивной против памятника Тимирязева. Пили бутылки два пива, иногда по три, не больше. Сидели, слушали хор. В перерывах толковали о фашистах, о прошлой гражданской войне, о кутежах, о женщинах. Из разговоров с ними я узнал — он показывал документы, — что он бывший буденновец, но в данный момент служит в Центральном управлении статистики. Между прочим, говорил, что у него есть брат, живущий в Ницце, что он хочет уехать к брату, так как здесь трудно и скучно жить.

Брат имеет связи в Париже и среди всей русской белогвардейской эмиграции, только нужно что-нибудь, какую-нибудь бумажку, которая бы показывала, что существует кто-то и что-то. Мы составили «тезисы» из заметок, выписанных мною из газеты «Известия» ВЦИК, иностранной хроники, особенно вопросы «Морнинг пост» тред-юнионам, некоторые наслех вспомняные вопросы, возникшие в период ножищи, некоторые фразы из белогвардейских воззваний с гражданской войны, вроде о секте антихристов, и прочее. Весь материал (он, я повторяю, у меня имелся до знакомства с Вяземским) я собирал для характеристики белогвардейской и черносотенных типов задуманного мною романа. О том, что Вяземский наверняка поедет за границу, он говорил — если удастся. Если удастся, приедет ли он из-за границы обратно, отвечал, что, может быть, не приеду. Если достанет денег, то во всяком случае вышлет.

Спешность Петерса<sup>6</sup> объясняется еще и тем, что, куда бы, повторяю я, ни приходил, всюду вспоминается прошлогодний злосчастный инцидент, лишивший меня заработка моей прямой литературной работой, обрешкий на год невероятной нищеты. Москва делала нас окончательно юдофобами, насовала в уши что было и не было. При составлении из моих заметок, из разных входящих фраз, имеющихся у вас так называемых тезисов, конечно, я проявил максимум не злой воли, а легкомыслия, выразившегося не в том, что я их написал, а в том, что дал переписать и помогал сам. Во-первых, тогда руководила мною мысль, что во всей этой истории нет кроме всей известной болтовни ничего. Во-вторых, если удастся князю попасть за границу и, паче чаяния, получить деньги, то это было бы совсем не худо. Напротив, к тому же говорилась, что если он, Вяземский, получит много, например, рублей (миллионы!), то по его приезде с деньгами обдумает, как быть. Если он проберется и не приедет, то постарается по крайней мере выслать на мое имя тысяч пятьдесят для издательства.

Последнее обстоятельство: собрание на квартире у Анатолия Розанова было созвано не мной, а товарищем Чекрыгиным, для того чтобы обсудить возможности легальной литературной газеты или журнала.

Вначале обсуждали газеты, потом порешили философствовать о классах, о капитализме, о земле, о промышленности. Затем решили — с газетами едва ли что выйдет, а вот создать бы какую-нибудь боевую организацию, чтоб всё вверх тормашками. Это, пожалуй, легче, чем издать газету. Победит тот, у кого сильнее техника и совершеннее. Значит, надо всех перещеголять не только в теоретических изысканиях, в области экономики, но и в небывалых тонкостях конспирации — в смысле печати агитационки и их распространения, изобретения необычайных крыльев безмоторных, летучих мин, наподобие, скажем, грача или там птицы, чтоб ни одно ГПУ, никто на свете не узнали до тех пор, пока все не будет в руках тонких конспираторов и изобретателей. Политики есть. Есть и изобретатель — вон тот Алеша. Что он из себя представляет, я не знаю. Один раз я видел его в продолжение десяти минут. На меня он произвел впечатление идиота, потому что кто-то из братьев Розановых давал ему использованный трамвайный билет. Он рассмотрел его, свернул и положил в карман. Причем все его звали «великий изобретатель». При второй встрече я

<sup>4</sup> Вспоминается аналогичная ситуация с «фашистским погромом» в ЦДЛ. Однако как изменились времена в либеральную сторону! Агранов и К<sup>р</sup> расстреляли семерых русских людей и шестерых сослали на Соловки. Черныченко и нынешним литературным чекистам удалось принести в жертву по похожему обвинению лишь одного Остапашкиля.

<sup>5</sup> Вяземский — литератор, по всей вероятности, сыгравший роль провокатора в деле А. Ганкина и его товарищей, предложивший им привезти деньги из-за границы, куда он якобы собирался поехать.

<sup>6</sup> Я. Х. Петерс — зам. председателя ЧК — ОГПУ.

спросил Никитина и Розанова Анатолия, что это за человек. Розанов ответил, что будто это очень способный человек, поразительный математик, который в уме решает сложнейшие задачи. Никитин говорил, что бывший студент. Голодает по целым дням. На днях хотел удавиться. В чем заключается его изобретение, я не понял, какие-то крылья. Есть ли у него чертежи или модель? Он ответил, что есть. Принцип кондора. Для меня это непонятно. И математический расчет. При расспросе Чиркиным, какой формы аппарат должен быть, как должен двигаться, как в нем будет сидеть человек, он отвечал что-то путаное. Серьезный он человек или нет, я не знаю. Я, по крайней мере, почти все время после выпитого вина лежал на кровати.

Я говорил в начале беседы о грозящей нам опасности с Запада, поэтому надо быть готовыми — в Англии побеждают консерваторы, Америка правит. К тому же с Запада превосходство техники, радиоуправляемые аэропланы, в Англии — лучи смерти. Говорилось о нашей низкой заработной плате. Пили вино. Вся беседа и о газете, и о политике, и о машинах продолжалась не более полутора часов. С собрания мы с Чиркиным пошли домой. И мечтали уже не о миллионе, который надеялись получить через Вяземского.

В день ареста, так как накануне ареста я получил семьдесят рублей в Хлебопродукте (жалованье), я ухотил покупать пальто на Смоленский рынок. Пальто не купил. На квартире у Карпова в общежитии писателей я одел пальто, вот то, что на мне, и пошел просто обедать где подешевле, то есть в «Рабочую газету». По пути на Тверской улице я встретил Соловьева.

В тот вечер денег у него не было. Он хотел продать золотые часы. А я как раз получил деньги. Я предложил пойти пообедать. И он вернулся со мной в столовку. В тот вечер я получил записку Чиркина, оставленную у швейцара «Стойла Пегаса», а ныне «Таверна муз», что я обещался Чиркину переговорить с Сытиным, со стариком, о стоимости такой газеты, и не примет ли он в издании какое-либо участие или, по крайней мере, не окажет ли кредит за типографские работы. Чиркину я сказал еще в столовке, что никуда не ходил. Я хотел купить себе белье и поехать на Госпитальную в баню.

Где я еще бывал? Несколько раз летом и раза два-три в конце лета у поэта Шенгелия. Я до середины лета был знаком шапочно, с Галановым — тоже. Но с шахматного турнира в Союзе поэтов я ближе сошелся с двумя вышеуказанными поэтами. Галанов меня проводил к Шенгелия в первый раз. Шенгелия в настоящее время среди поэтов считается одним из лучших теоретиков стиха, а я в этом отношении отстал. Среди наших бесед однажды возникла мысль основать общество, которое бы боролось с невежеством, со спекуляцией на искусстве, с безграмотной халтурщиной. И в то же время чтобы это общество поддерживало друг друга не только духовно, но и материально, могло сохранить молодые творческие силы от тупоумщины, халтурщины и прочих разлагающих прелестей. Не знаю, присутствовал ли тут Галанов или нет, но мы рассуждали о выпуске этического-философского манифеста, который бы охватил все бытие человека, но в котором в печати же заявить, что от так называемой политики мы отрекаемся.

Более или менее часто я встречался с Иваном Сергеевичем Рукавишниковым, ночевал у него один раз. А встречались всегда за выпивкой. Не помню, в какое зренье, кажется, осенью в 1923 году, во время суда, познакомил меня Герасимов Михаил с Берзиной Анной Абрамовной. а она в свою очередь — с Лобановым на Тверской улице, дом, кажется, двадцатый. У этого художника Лобанова я встречался раза два с Вардиным.

Итак, все мои знакомые разделяются приблизительно так.

Первое. Люди, которых я знаю давно как революционно настроенных, работавших в гражданскую с народом, или определено партийные коммунисты — Ермолаев, Ковалев, Кириллов, Кудряцев, Левичев, студенты-земляки Тихомиров, Круглов, Серков, Быков, с которыми я говорил обо всем и которые знают меня давно. Все указанные люди великолепно знают прелести былого мира, ибо все они, как и я, по происхождению крестьяне, во время учебы сами добывавшие себе пропитание. Отсюда ясно — ни в какие заговоры не только я, но и сам Господь их не затащит. Я ходил к ним отдыхать душой, посмотреть на здоровых людей, наконец, очухаться от кабака. Сюда же отношу Сахно и Воеводина.

Второе. Вторая группа. Это литераторы, для которых, конечно, все человеческое не чуждо, но которые прежде всего по природе своей деятельности слишком далеки от всякой политики — Рукавишников, Грузинов, Ивнев, Есенин, Клычков, Орешин, Карпов, Кузько, Шепеленко, Иванов, Пильняк, Шенгелия, Кириллов, Герасимов, Марьянова и другие члены ВСП и многие члены Союза писателей.

Я также знаком со всей группой «Кузница» и другими пролетарскими поэтами.

Третья группа — люди, с которыми я встречался в этот год и виделся с которыми либо очень часто, либо очень редко, но лица и имена которых знаю. Ни социального происхождения, ни прошлого, особенно в гражданскую войну, ни их убеждений не знаю. С ними я знаком исключительно по кафе «Стойло» и «Альказар». Это так называемая богема. Глубоковский — театральный критик, Марцелл Рабинович, кажется, коммунист. Сокол — поэт, Чекрыгины братья тоже — Петр и Николай, Дурново, Догурно, Полярный, Персиц, которого, впрочем, до сего один или два раза видел, кажется, поэт. Все это любители понюхать. По разговорам это

все боевые люди во время понюшки, но боевые по-абсурдному или по-смешному. В силу своей расхлябанности не способные не только кого-нибудь объединить для заговора и в какой-нибудь мере вести за собой хоть одну минуту, но не способные и сами-то себе тридцать минут пробыть в ладу, в ровном настроении, не имеющие сплошь и рядом на махорку. Нередко мечтали о делах, которые действительно требуют миллионов денег. Дела казались возможными. Но разве кто верил через пять минут в возможность их воплощения? Если судить по разговорам, то всю эту компанию можно с таким же успехом обвинить, например, в бандитизме или принять за членов какого-нибудь филантропического братства.

Четвертое. Это группа людей, с которыми я знаком, но познакомился в разное время. В 1924 году и в конце 1923 года. Сюда относятся люди, ни по своим убеждениям, ни по социальным признакам абсолютно не совместимые ни со мной, ни между собой. Встречал всех их в разных местах, в домашней обстановке. Лица эти, с одной стороны — Вардин, Берзина, Лобанов, Галина, жена Есенина, с другой — Мейерхольд, Дункан, с третьей — профессор Головин, критик Александрович и известный мне друг Александровича Мишель. С каждым из указанных лиц встречался по два-три раза.

И, наконец, Вяземский, историю встречи с ним я рассказывал.

Итак, вот те люди, с которыми я встречался. Где, с кем я говорил и о чем, вам уже рассказано при показаниях вышеозначенных лиц, наверное, больше и страшней, чем следует.

Тут вы меня спрашиваете и о фашизме, и о национальном комитете, и о заговоре к вооруженному захвату власти, и о терроре, и просто об агитации и об агитации посредством печатных прокламаций. И, наконец, о выдаче государственных тайн врагам Союза ССР. Отсюда и то недоверие к моим словам, отсюда и то грозное обвинение, предъявленное мне по статьям 60, 64 и 66, которое грозит мне смертью, ибо я, выходя по-вашему, смертельный враг власти рабочих, крестьян. Я — противник завоеваний Октябрьской революции. Я — предатель интересов трудящихся, и так далее, и тому подобное.

Да, задавленный, с одной стороны, нищетой, с другой стороны — под необходимыми влиянием моих творческих сил, живущих во мне величайших образов я, отчаявшийся получить какую бы то ни было поддержку, здесь рискнул добыть необходимые мне средства, безразлично где и каким путем. Мне тридцать лет. В тридцать лет упорная работа за кусок хлеба. Тридцать лет непрерывного внутреннего горения. Я вышел в жизнь из хижины, восьмилетним мальчиком, с киркой и фартуком печника, чтобы под руководством моего отца, лучшего мастера нашей окоуги Алексея Степановича Ганина, научиться класть русские печи. И вот к тридцати годам я вышел на путь истории, чтобы из страданий и радости любимого мною трудового народа, из всего ужаса и всей радости тысячелетий построить памятник нашей эпохе. Я не стремился к дешевой славе, не искал личного благополучия. Я всю жизнь горел и работал. И вот в тот момент, когда я сделался мастером, когда мне нужно было начинать свою новую творческую работу, я очутился в том положении, о котором я уже говорил. У меня не было комнаты, у меня не было стола, где бы я мог работать. А сама работа требовала хоть минимум обеспеченности. Все те люди, с которыми я общался в этот год, — либо мои старые друзья и уже испытанные в огне революции друзья трудового народа, либо люди, которые с нами хотят творить и работать, либо те, которые нужны были мне как материал. И нужны были не как политику, а как созидателю, как художнику, поэту. Моя фантастика была настолько жива, что даже нефантастам показалась реальностью. То есть когда я, отчаявшись где-нибудь в редакции получить червонец аванса, я хотел из рук тех, против кого я боролся, вырвать необходимые средства, нужные мне для работы. Объединяя случайный материал, повторяя собранные мной из официальных изданий, из случайных фраз и белогвардейских листовок для моей работы «тезисы», я полагал, что не делаю особых преступлений. В этих «тезисах» я не выразил никакой государственной тайны, потому что никакой тайны я не знаю. Это то, что изо дня в день обсуждается и официальной прессой, и то, что повторяет и образованная и необразованная чернь России и Европы.

С наступлением зимы в тот момент, когда мне казалось, что я еще на неопределенное время остаюсь без крова и без всякой возможности жить и работать, мне встретился Вяземский. Я рискнул. Тем более он сам легко согласился. Сознаною, что у меня в душе вскипало не раз возмущение и острая боль против некоторых сторон современной жизни. Особенно в те моменты, когда я в тягчайшее время борьбы трудящихся за свое освобождение, я, переносивший с народом как его составная органическая часть те бесчисленные лишения, голод, холод и прочее, в настоящий момент нахожусь еще в худшем положении. Тогда, в эти моменты, глядя на тех нэпманов и карьеристов, которые не знают, как и куда измотать свои червонцы, не возмущаться не мог. А в литературе — вот я, с детства воспринявший жизнь трудового народа, вынесший путешествие на крышах вагонов, еввший одну восьмью хлеба, по мере своих сил и способностей помогавший в борьбе в тяжелые времена 18, 19 и 20-го годов, не имею теперь стола, где бы писать, тогда как такие, как граф А. Толстой (я говорю это не из злобы, а просто указываю как на факт), просидевший тяжелое время за границей, имеют и постоянный ночлег, и своей халтурой зарабатывают сотни червонцев. Я халтурить не мог. А серьезные

вещи, да еще о таком необычайном историческом времени, как наше, конечно, требуют десятка лет работы и наблюдений.

Но моя вина — что до революции я не успел прославиться как писатель, поэт. Но те работы, которые я уже отделал, всякий, кто захочет серьезно и добросовестно посмотреть их, дадут гарантию искренности моих слов. Да и в нормальное это время, то есть в мирное, и при той обеспеченности, в какой жили писатели прошлого, ни один к моему возрасту не успевал выполнить какую-либо большую работу. Возьмите Достоевского, Толстого и прочих.

С теми людьми, с которыми я встречался, я говорил иногда чересчур много. Но от разговоров до заговора, до организации, враждебной и угрожающей власти Советов, мне кажется, слишком большая пропасть.

Профессора Головина я очень уважаю как ученого. Но я ни разу не предпринял ни одного шага идейной согласованности с монархическими целями. Во всех тех кружках и кругах, где я бывал как человек, которому иногда хочется просто стакан горячего чая, которому негде жить в данный момент, а по улице бродить скучно, холодно, все мои разговоры носили характер скорее чисто философский. Все встречи со всеми людьми и у Александровича, и у Шенгелии, и в кафе «Альказар», «Стойло Пегаса», за исключением последней беседы на квартире Анатолия Розанова и последних трех посещений Вяземского, были всегда случайны. А отсюда все возникавшие разговоры были непреднамеренны.

Всякий высказывал что он хотел. И как в данный момент думал. Никто не отступал от своих воззрений, нигде ни разу ни одна беседа не прошла организованно, то есть так, чтобы крайности суждений были сглажены, чтобы все сошлись на каком-либо одном в принципе, что прежде всего, по-моему, необходимо для всякой организации. Так по крайней мере было всюду в моем присутствии. Я не знаю ни одного случая, где бы было принято то или иное решение — общее и обязательное, по крайней мере, для присутствующих. Это мне давало повод думать, что я имею дело не с политическими организациями, ни даже с отдельными официальными представителями таковых, а, говорю, с людьми частного порядка. Правда, иногда были рискованные разговоры, но всегда возникавшие случайно, протекавшие хаотически. Единственный случай, когда Чекрыгин предложил мне вступить в фашистскую организацию как уже существующую. Но разве я мог хоть на секунду серьезно мыслить, что за Чекрыгины и Полярный есть организация фашистов? Заранее условленное собрание у Розанова было создано, повторяю, для создания легальной литературной газеты. Все последние разговоры были хаотичны, никаких решений не принималось. К тому же если бы в то время зашел принципиальный и конкретный вопрос о машинах, то я не верил тогда, да не верю и теперь, ни в изобретения, ни в изобретателя.

О существовании национального комитета, о существовании типографского шрифта или оружия или взрывчатых веществ я не знаю. И никто мне об этом не говорил.

Что касается лично меня, то в этом направлении я не предпринимал ни одного делово-конкретного и вообще никакого шага. Даже ни разу не вносил каких-либо конкретных предложений, опять-таки кроме литературных машин — где и как достать таковые. Об изобретении крыльев я узнал, когда спросил. Спросили меня Розанов и Никитин, не могу ли я где достать несколько пудов каучука для того, чтобы дать этому изобретателю. Если не ошибаюсь, он хотел приготовить непромокаемую ткань домашним способом для крыльев своего аппарата. Никаких конкретных предложений насчет приобретений денежных средств я ни от кого, кроме Полярного и Мишеля, не слышал. Фальшивую монету, то есть выделку таковых, я отверг.

Приписываемый мне план экспроприации я ни разу не предлагал осуществить или серьезно думать об этом не думал.

Предложение Вяземского, которое было мне сделано за несколько дней до его отъезда, я принял один, ни с кем не советовался. Во-первых, советоваться было не с кем, а во-вторых, я не вполне верил ему, да и сам Вяземский даже в том случае, если он уедет за границу, обещал достать денег не наверное.

Вопрос о деньгах у меня бывал еще с Шенгелия. Но здесь деньги нужны были для издательства, которое было бы при Союзе. О том, что мне предложено достать для меня же деньги, я как будто бы ему говорил, но это было после предложения Вяземского, кажется, в присутствии Ситницкого, которого я видел раз у Шенгелия и раз в «Альказаре». Кстати, Ситницкий говорил мне, что он пишет научно-экономическую работу и по частям эту работу где-то печатает. Где — не знаю.

Рассуждая серьезно с Ситницким — он произвел на меня серьезное впечатление, — мы говорили о том, что, если не будет тех или иных реформ, может случиться, что года через три, но не раньше, может вспыхнуть стихийное недовольство. И вот, чтобы не допустить господства реакции и монархическую диктатуру, нужно всем честным, мыслящим людям быть к этому готовыми. Всем нам, это было мое убеждение, за исключением фашистов, о которых я уже говорил, деньги нужны были не на контрреволюцию и прочие штуки, а исключительно для того, чтобы иметь возможность работать.

Как мыслил профессор Головин, я не знаю. Он был крайне сдержан. Ни о каких деньгах я от него не слышал. Не мою фразу приблизительно такого смысла — «если вы считаете монархию лучшей системой государственного управления, почему вы не сохранили ее?» — он отвечал, что он заняв научной работой в НИИ у Мкла-



кова, от которого подвергался преследованиям. А теперь он уже стар, его время прошло.

Итак, если у ГПУ имеются данные о существовании каких-либо организаций как таковых — с программой, с дисциплиной, со средствами, — то я, честным словом поэта, гражданина, говорю, что никто из указанных выше лиц, где я бывал, мне ни разу ничего не говорил об этом. А сам я увидеть какие-либо признаки единомысленной организованности не мог. Людей, которых я видел за весь год несколько раз, естественно, знать не мог. Из 365 дней я видел их в продолжение трех, пяти дней. И если высчитать все наши встречи, что из них делал каждый, как думали остальные триста шестьдесят дней, конечно, судить мне трудно и строить догадки было бы с моей стороны нечестно.

Те люди, среди которых я большую часть года прожил, — студенты, поэты и писатели — действительно крайне нуждаются, сплошь и рядом не имеют ни жилья, ни одежды. Речь о деньгах вели постоянно. Постоянно делали всевозможные предположения. Предлагались всяческие фантастические предложения, но прошел год — и никто никого не убил, не ограбил, не экспроприровал. Пройдет и еще сто лет. И, живи из них каждый, можно с уверенностью сказать, что все будет так, пока они не сопьются и не занюхаются, а другие не сделаются знаменитостями, а третьи кончат свою учебу и станут тихими, работающими гражданами«...».

Все что угодно, только не организация, только не политическая. Хитро-деловитый Кудрявцев и наивно-простоватый Дурново, и все прочие. Конечно, если взглянуть на всех этих людей серьезно, то, принимая каждого в отдельности за что угодно, никому, я думаю, вполне серьезно не представится угодным думать, что из этого состоит или хотя бы могла состоять политическая или безразлично какая организация.

Мне неудобно сознаваться, но это — так. Это — литературный, живой материал, притом великолепный по многообразию характеров для нашего времени в целом. Материал для романа. К тому же у меня, повторяю, ни пищи, ни крова, ни знакомых, кроме вышеуказанных лиц, и нет, и не было. Я у них и пил, и ел, и, наконец, одевался и спал.

Я не знаю, это вам виднее, насколько я, взятый вместе со всеми этими людьми, а без них я давно бы сдох с голоду или стал хитрованцем, представляю опасность для государства трудящихся. Я не боюсь смерти. Но мне не хочется умирать как врагу власти рабочих и крестьян, с которыми связана вся моя жизнь, все, все лучшее, что есть у меня в душе, для которого я берег мои лучшие чувства и мысли. Я не хочу быть белогвардейским святым. Ни по опыту всей моей жизни, ни по роду всей моей прошлой работы я органически не могу быть контрреволюционером. Не был и не буду! Если вы подарите мне жизнь, буду тем, чем я был. А я был всегда честным гражданином, и потом: история с Вяземским и с теми разговорами — это был только крик отчаяния. А мой национализм совсем не тот погромный, и я уже открыто заявлял — он покоится на великом принципе Ильича — самоопределении наций, советской власти, за которую я все же боролся и считаю единственной и никакой другой не мыслю.

Примите мое раскаяние и, если можно, оставьте мне жизнь.

17 ноября, А. Ганин.